

Александр Мелихов

Новый Варшавский Договор

Nowy Układ Warszawski

«Азбука» Чеслава Милоша наводит на размышления совсем не азбучные.

«Америка. Какое великолепие! Какая нищета! Какая человечность! Какое бесчеловечие! Какая взаимная доброжелательность! Какое одиночество! Какая преданность идеалам! Какое лицемерие! Какое торжество совести! Какое двуличие! Америка противоположностей может (хотя не обязательно должна) открыться перед успешными иммигрантами. Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жестокость. Мне повезло, однако я всегда старался помнить, что обязан этим счастливой звезде, а не себе, что совсем рядом находятся целые районы, населенные несчастливцами. Скажу даже больше: мысль об их тяжком труде и несбывшихся надеждах, а также о гигантской системе тюрем, в которых держат ненужных людей, настраивала меня скептически по отношению к декорациям, то есть к аккуратным домикам среди зелени предместий».

Когда-то Алексис де Токвиль предрекал, что двум новым гигантам – России и Америке предстоит сделаться владыками мира, но Милошу пришлось увидеть американское торжество. «В этом столетии ‘зверь, выходящий из моря’, поверг всех своих противников и соперников. Самым серьезным противником была советская Россия, ибо в столкновении с ней речь шла не только о военной силе, но и о модели человека». Хорошо, что это видят хотя бы поэты: борьба народов – прежде всего состязание грез, состязание воодушевляющих сказок. «Попытка создать ‘нового человека’ на основе утопических принципов была поистине титанической, и те, кто *ex post* недооценивают ее, видимо, не понимают, какова была ставка в этой игре. Победил ‘старый человек’, и теперь при помощи СМИ он навязывает свой образ жизни всей планете. Оглядываясь назад, следует усматривать причины советского поражения в сфере культуры. Расходуя астрономические суммы на пропаганду, Россия так и не сумела никого убедить в превосходстве своей модели – даже в покоренных странах Европы, которые воспринимали эти попытки издевательски, видя в них неуклюжий маскарад варваров».

Социальное, как всегда, уступило экзистенциальному – национальному и цивилизационному, ибо цивилизация тоже порождается уверенностью какой-то группы народов в совместной избранности, а в позднем Советском Союзе даже его лидеры уже не верили в собственную сказку и пытались состязаться в заведомо проигрышных критериях противника, в уровне и разнообразии потребления, опираясь уже не на интернациональный (имперский), но национальный принцип, требуя невозможного признания верховенства Старшего Брата.

Америка при этом, несмотря на свою пресловутую «бездуховность», умудрилась сделаться еще и культурной столицей мира. «Уже не Париж, а Нью-Йорк становится мировой столицей живописи. В Америке у поэзии, сведенной в Западной Европе к чему-то вроде нумизматики, появились слушатели в университетских кампусах, кафедры, институты и премии. Я сознаю, что если бы остался во Франции, то не получил бы в 1978 году Нейштадтской, а затем и Нобелевской премии».

«Быть может, читатель почувствует это обилие рвущегося наружу материала», – пишет Милош в предисловии, и кое-где он таки прорывается – прорывается прежде всего обида за славянство, за «огромные массы иммигрантов из славянских стран – словенцев, словаков, поляков, чехов, хорватов, сербов, украинцев». Сколько славянина ни корми, он будет помнить «принятые в двадцатые годы законы, ограничивающие число виз для стран второго сорта, то есть восточно- и южноевропейских». «Учитывая высокий процент славянских переселенцев, их незначительное присутствие в высокой культуре заставляет задуматься. Пожалуй, главной причиной было, как правило, низкое общественное положение семей: детей рано отправляли на заработки, а если уж посылали учиться, то избегали гуманитарных направлений. Кроме того, эти белые негры пользовались своим цветом кожи и часто меняли фамилии на англо-саксонские по звучанию, поэтому до их происхождения уже трудно докопаться». Что в очередной раз доказывает, что для сохранения национальной культуры выгоднее соседство культурно чуждого народа, присоединение к которому не представляет экзистенциально соблазна: даже делая карьеру среди «варваров», выходец из «избранного» народа в глубине души продолжает смотреть на него свысока. Другое дело, пребывание среди народа, чье превосходство и в глубине души не вызывает сомнений – тут ассимиляция практически неизбежна, если чужаки еще и не выделяются среди хозяев антропологически.

«Когда рабочие из Детройта узнали, что поляк получил Нобелевскую премию, они произнесли фразу, заключавшую в себе суть их горькой мудрости: ‘Значит, он в два раза лучше других’. По своему опыту общения с заводскими мастерами они знали, что лишь удвоенные труд и сноровка могут компенсировать нежелательное происхождение». Здесь, однако, на-

родная мудрость не возвысилась до понимания тонкостей национальной политики: умные владыки мира всегда демонстративно поощряют отдельных любимчиков из дискриминируемого меньшинства, постоянно кишашего недовольными, чтобы лишить козырей тех смутьянов, кто станет призывать их к открытому протесту. Правда, сам Милош вряд ли мог бы соблазнить своей карьерой кого-то, кроме кучки интеллектуалов, а более всего литераторов. Он был нужен, скорее, для формирования альтернативной истории польской литературы, и в этом, судя по всему, он свою роль сыграл. И роль несомненно положительную, хотя мне и неизвестно, какие «автохтонные» польские поэты были заглушены нобелевскими фанфарами.

Они даже и в душе самого Чеслава Милоша, сверх самых смелых его мечтаний обласканного Западом, не сумели заглушить национальную обиду на **Глупость Запада**: «Признаться, я страдал этим польским комплексом, но, поскольку много лет жил во Франции и Америке, все же, скрипя зубами, вынужден был научиться сдерживать себя. Объективная оценка этого феномена возможна, то есть можно влезть в шкуру западного человека и посмотреть на мир его глазами. Тогда выясняется: то, что мы называем глупостью, следствие иного опыта и иных интересов». Да, нам всегда представляется чем-то вроде слабоумия – или уж крайней подлостью, когда другие хотят жить не нашими, а собственными интересами. Тем более, не шкурными нашими, а высокими, национальными!

«И все же глупость Запада — не только наша, второсортных европейцев выдумка. Имя ей – ограниченное воображение. Они ограничивают свое воображение, прочерчивая через середину Европы линию и убеждая себя, что не в их интересах заниматься малоизвестными народами, живущими к востоку от нее». Счастливчику Милошу такое отношение к Восточной Европе наверняка виднее, чем любому из нас, «варваров», вольно или невольно внушающих страх одними своими размерами, не говоря о тех десятилетиях, когда мы несли миру красную заразу. Правда, я уже давно не понимаю, что в противостоянии «двух систем» порождалось идеологией, а что геополитикой. Коммунистические грезы начали быстро оттесняться вечными задачами национального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами: не уверен, что была возможна мирная политика среди военного психоза Тридцатилетней войны 1914–1945 (обойтись без особых зверств и подлостей удалось только тем, кто был для этого недостаточно силен). Альтернативой коммунистической воодушевляющей химере могла быть только националистическая, и вполне возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое – коричневую чуму излечила красной заразой.

Для национальной же гордости мучительнее всего попасть в число «пустых стран, не имеющих значения для прогресса цивилизации» – то есть не способных ни особенно помочь, ни особенно повредить. Только почему

же Милошу кажется, что такое восприятие порождено ограниченностью воображения, а не «иным опытом», в котором эталонным европейцам от тех стран, за которые у поэта болит душа, и впрямь всегда было ни жарко, ни холодно? «Исторические неудачники», – считая меня за своего, как о чем-то общеизвестном однажды обронил о славянах весьма просвещенный корреспондент одной из радиостанций, призванных нести цивилизацию в мир варваров, и, боюсь, всем обольщенным, но не обольстившим народам рано или поздно придется вслед за Милошем понять, что т.н. цивилизационный выбор невозможно сделать в одностороннем порядке: даже формальные корочки члена престижного клуба не гарантируют того, что ты и впрямь принят в него как равный. Больше века назад подобную неполноценность в европейском бомонде ощутили евреи – тогда-то и возник светский сионизм, пытавшийся и сумевший создать собственный клуб. Подозреваю, что когда-нибудь этого же пожелают и народы Восточной Европы. И попытаются создать какую-то мирную версию Варшавского договора.

Ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие общей опасности. Варшавский договор был направлен против военной угрозы, которую никто не воспринимал как реальную, и потому он ощущался ненужной обузой даже в России, если говорить о наиболее «модернизированной» части ее населения. Но сегодня у «второсортных европейцев» не может не нарастать ощущение исторической ущербности, для противостояния коему требуется уже не оружие, но прорыв в созидании чего-то **небывалого** – в науке, в технике, в искусстве. Страны, составляющие ядро европейской цивилизации, всегда будут смотреть на новичков свысока как на своих учеников, покуда те лишь повторяют, пусть как угодно блестяще, их уже известные достижения. Именно поэтому странам «полупериферии» необходимы прорывы, способные удивлять мир, расширять его представления о человеческих возможностях. И объединять для этого усилия в научных, культурных и технических проектах, поднять которые поодиночке им не по силам.

Решатся ли они на такую борьбу или так и будут «рано отправлять детей на заработки» в погоне за званием «нормальной европейской страны», то есть никому не интересной копии господствующего эталона?

Каждому народу необходимо ощущение *собственного* участия в истории, стремление творить историю *собственными* руками. И в прежние времена едва ли не единственным способом вовлекать народы в общее историческое дело было построение империй, оставляющих широкие возможности для культурной автономии и открывающих наиболее одаренным и энергичным представителям национальных меньшинств возможности войти в имперскую элиту. Однако, поскольку «хозяином страны» как правило если не считается открыто, то подразумевается самый сильный «государствообразующий» народ, то львиная доля славы, а следовательно

и самый надежный слой экзистенциальной защиты, защиты от чувства бессилия и брэнности доставался ему, а остальные народы чувствовали себя обделенными.

Но ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие общего противника. Варшавский договор был направлен против несуществующей военной опасности и потому ощущался как ненужная обуза даже в самой России. Но сегодня у России и других славянских стран есть по-настоящему опасный общий враг — ощущение исторической второсортности, вольно или невольно навязанное миру системой господствующих стандартов и грозящее разрушить экзистенциальную защиту обеих стран. Для противостояния этому ощущению и необходим новый, уже не военный, а творческий Варшавский договор, целью которого должно стать сотрудничество в созидании чего-то **небывалого** — в науке, в технике, в искусстве.

Таким образом, перед философией и литературой славянских стран возникает общая задача формирования новой версии панславизма, версии, совершенно лишенной агрессивного начала и направленной исключительно на совместное творчество. Или, выражаясь более научно, в сегодняшнем мире назрела необходимость не геополитических, но экзистенциальных союзов, предназначенных для борьбы с ощущением исторической мизерности человека и человечества.